

КИНГИСЕПП

У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают кому позор,
Кому бесславье, а кому бессмертие...

Микаэл Таривердиев.
Роберт Рождественский

Мы с мамой шли по булыжной мостовой, которая сверкала жёлто-голубой лентой среди тёмно-зелёного леса. Машины в то время проезжали по этой дороге редко, поэтому я не могу применить здесь распространённое мнение о том, что камни блестели, отполированные автомобильными шинами. Я скажу с претензией на поэзию: булыжники были гладкими, словно умыты дождями и обласканы солнышком. Мои маленькие ноги в сандалиях с простенькой пуговицей на застёжке скользили кожаной подошвой, застревали в расщелинах, я чуть не падала, но не хныкала и не жаловалась. Мама крепко держала меня за руку. Догадавшись, что дочка утомилась, мать перешла на обочину. Здесь мягко лежал жёлтый песочек, как на пляже. И сразу ушло напряжение. Я вздохнула со всхлипом, успокаиваясь. И увидела лес... Мать остановилась, поставила возле ног деревянный чемоданчик, окрашенный в зелёную масляную краску, поправила на плечах лямки самодельного рюкзака, огляделась.

-- В Кировской области лес тоже красивый, - сказала строго с врождённой учительской интонацией, но вздохнула, как и дочь, с лёгким придыханием прощённой обиды.

-- Но зимой там страшно, - продолжила негромко. - Война. Волков развелось, голодные все, стаями охотились. Один раз и за нами волки гнались. Мы с Катей немного задержались в районном центре, пока хлеб, муку получили для детского дома... - Оля опять оглядела тихий, оплывающий запахами лес, но, казалось, уже не видела его.

--Темнеет рано, - продолжила она. - Катя погоняет лошадь, покрикивает, и вдруг конь захрапел и рванул наши санки. Я чуть не вывалилась. Смотрю, а за нами на дороге серые тени. На снегу хорошо видны, и глаза горят. «Волки! - кричу, - Катя, волки!» Она в ответ: «Оля! Жги еловую лапу!» Сама встала в санях и громко, спокойно с лошадью разговаривает: "Не бойся, родная, проскочим. Не на тех напали..."

Мать посмотрела на дочь, на её внимательные глаза, помолчала, только сдвинула слегка брови. На переносице обозначились две глубокие вертикальные морщинки. Взгляд ушёл в себя, будто решила до конца ещё раз пережить тот момент. ...Страх ушёл. Мысль о хлебе томительной болью отозвалась в сердце, поползла по грудной клетке. Хлеб в детский дом нужно привезти во что бы то ни стало! В санях-розвальнях по накатанной зимней

дороге и крепнущему морозу везли они с завхозом Екатериной Ивановной Кузьминой недельный запас: мешок хлеба, остальное – мука. Хлеб выдали почти горячим, теперь он замёрзнет в открытых санях, вберёт в себя запах хвои и свежесть снега, детдомовские повара разогреют его к завтраку в русской печи, и дети получают по большому куску, с брусничным вареньем...

Умереть от волчьих зубов? Ну, уж нет! Зря, что ли, из Ленинграда живыми вырвались? Им с Катей, тоже блокадницей, едва по тридцать. У Кати, как и у Ольги, умерли двое детей, только у Кати их и было двое. Сама чудом осталась жива: совсем незнакомые люди подобрали её, обессиленную, на улице, отвели в госпиталь. Теперь хотелось жить, хотелось дождаться с войны мужей. Да и для детей-сирот эти молодые женщины стали опорой и радостью. И лошадь – совсем не для волков! Их единственная коняга, умница и помощница...

-- На счастье, в кармане полушубка у меня всегда спички лежали. Как чувствовала, что пригодятся. И еловая ветка на санях лежала, я её спилила, чтоб мягче сидеть было. Чиркнула спичкой. Откуда-то и сноровка взялась? И ветер не помешал, и сани бросало из стороны в сторону. Нужда научит калачи печь! Разгорелся огонь. Обгоревшие ветки на дорогу падали... Даже красиво было: как маленькие костры.

Мать замолчала. Взяла дочь за руку:

-- Пойдём. Не помню, как и приехали. Мне уж казалось, что дыхание волков слышу...

-- Как хорошо лес пахнет, – произнесла Ольга через некоторое время молчаливого и неспешного шага по мягкой обочине дороги, улыбнулась, поправила на спине вещевой мешок. Сооружён он был по принципу поговорки "Голь на выдумку хитра", и я помню, что мама часто эту поговорку повторяла, подкрепляя ею различные действия и окрашивая их тёплым юмором. Так вот, вещевой мешок она соорудила из крепкой старой наволочки: в углы вставлены небольшие сырые картофелины, затянуты верёвкой. Получились эдакие "пупырышки" по углам. Есть анекдот про "пимпочку"? Знаешь его, читатель? Вот, что-то в этом роде. Из верёвки – и лямки, которые образовались после того, как верх мешка собрали сборками в ладошку и затянули петлёй. Теперь можно руки продеть в лямки... Очень удобно.

Мама довольна была своей работой, хоть и сомневалась, что сумеет: "Глаза боятся, а руки делают!" – ну, пословицы и поговорки часто подкрепляли и уточняли, даже украшали её речь. Знала она их не одну сотню.

Возвращение домой волновало Лёльку каким-то особенным волнением, в котором тесно сочетались покой и тревога. Живо чувствовала она, что столько всего трудного, невозможного пережито, но не изжито, что теперь это её жизненный опыт, тяжкая ноша на всю жизнь. Не может она сказать, что всё осталось позади! Не может. Не верилось до конца, что теперь уж точно уехала из чужой, временной избы, хоть и приветливой, и с иконами, и с белоснежными занавесочками на окнах, но за порогом война и много, много горя. Её маленькие умершие от голода дети... Всё, всё, что могла она сделать для них! Но не уберегла. Страшным был момент, когда поняла, что они обречены. Единственная мысль успокаивала, безумная по своей сути мысль: умерев, они перестали страдать от голода и холода. Зато сейчас ей так хотелось бы увидеть их рядом с собой, на этой дороге – дороге в родной дом, которого её малыши так и не узнали.

А эти изматывающие, битком набитые пассажирские поезда, которые подолгу стояли на станциях и полустанках, то и дело пропуская военные грузы. Казалось, никогда не кончится грязь, духота, вонь от немытых тел и туалетов, матёрая ругань... Сильные беззастенчиво теснили слабых... Стояла Лёлька в тишине родного леса и чувствовала, как сдали нервы и сердце, близко слёзы, и всё это на неё совсем не похоже.

Ольга взглянула на свою стриженую под мальчишку девочку. Вопросительный и тревожный взгляд дочки вернул ей самообладание, и она сказала, как можно более ласково:

-- Как хорошо, что наш папа – живой!

Весёлые прыжки на одной ножке показали, что тревоги уже нет и в помине: "Живой! Живой! Живой!!"

Конечно, живой, а каким он ещё должен быть? Это само собой разумелось, разве бывает иначе?

-- Здесь твоя родина, - продолжила Ольга. Она была учителем "от Бога", всегда ощущала себя учителем. К своему ребёнку относилась, как и к другим детям, привыкла ничем не выделять её в группе там, в детском доме, и сейчас со стороны могло показаться, что она разговаривает с воспитанницей, а не с любимой дочерью. Но тут же и замолчала, будто смутилась этой высокой мысли о Родине: не на уроке же! Сентиментальной она не была. А вот деловой и энергичной – была и очень хорошо понимала, что предстоит много работы: восстанавливать не только дома, мосты, дороги, но и людские души.

Мама много разговаривала со мной, и я всерьёз подозреваю, что чувство родины поселилось во мне именно в те годы, когда мы вернулись из эвакуации, из Кировской области, вернулись навсегда, и называлось это чувство любовью, и проявлялось осознанно и бессознательно тоже всю жизнь как неразрывная связь с моими детскими тропинками, снегами, ледоходом на Луге, весенним цветением и осенним увяданием – только таким, как на моей Родине, и никаким другим.

Длинные окопы по весне теперь зарастали сочной травой, а в траве на солнечной стороне пряталась ароматная и радостная земляника. Послевоенная наша гортоповская детвора тут же и поедала её, издав восторженный визг, не умея иначе выразить своё счастье. Красота душистого кустика с красными ягодами на зелёном фоне, их вкус, аромат навсегда остались со мной.



И дядя Савва с его лошадкой и телегой на той самой дороге, по которой я сейчас иду с мамой, – это как прекрасная картина, вытканная особо на полотне моей судьбы... И моё удивительное дежавю: летний солнечный день, сосновый лес, пахнет смолой и хвоей, лошадка, телега, тишина... Возница – дорогой и близкий мне старик, и я семнадцатилетняя в ситцевом сарафане, с пушистой косой,

счастливая, беспечная, лежу в телеге, и душистое сено щекочет мне щёки, а вершины деревьев проплывают перед сияющими глазами – тоже – выткало счастье, лучи которого достигают меня из детства в любом возрасте и в любой точке Земли.

Дядя Савва – особо красивым рисунком проявился на моём ковре-судьбе через несколько лет после того дня, когда мы с мамой возвращались из эвакуации. Наша семья к тому времени уже уехала из деревни Порхово и жила в Кингисеппе. Город был разрушен войной до основания. Люди жили в наскоро сколоченных бараках и в землянках. На развалинах домов мне запомнилась надпись на простой белой фанерке, приколоченной к палке: "Проверено. Мин нет. Степанов". Много таких надписей высилось над грудями камней, и везде подпись: "Степанов".

Но меня эти неудобства будто и не касались, другого не знала. Летом ездила к бабушке с дядей Саввой, соседом бабушки. Он привозил в город для сдачи государству колхозное молоко. Четыре больших бидона (литров по сорок и с крышками, как люки у танков) стояли в телеге, в которую впряжена послушная и терпеливая лошадка. Опять – лошадка. Может быть, с тех пор я люблю лошадей, этих крупный красивых животных на службе у человека. Люблю, к сожалению, издали, жизнь так поворачивалась, что не было возле меня лошадей. А я остро жалею их за непосильный труд, за удары кнутом, за муштру в цирке, за гибель в бою...

На молокозавод и обратно дядя Савва проезжал мимо гортопа по Гдовскому шоссе на окраине Кингисеппа, и я, на обратном его пути запрыгивала в телегу, замирая от счастья. И чего, собственно, я "замирала": восемь километров, и всё – лесом. Наверное, древняя тяга к путешествиям, к открытиям... Или, положив руку на сердце, надо признать, что было подспудное желание скрыться с глаз от строгой мамы. Или – и это вероятнее всего – просто детство. Безоглядное счастливое время.

-- Дряннь девчонка! – иногда возмущалась мама. – Ты опять ела сосульки? Я тебя выведу на чистую воду! Тётя Нюра видела, как ты босиком бегала по снегу!

"Они вкусные", - отвечала я мысленно. "Ноги потом горячие... и босые следы на снегу - смешные", - произносила я сама себе, глядела исподлобья и видно было, что сосульки есть буду, и босиком по снегу бегать буду. Конечно, мама волновалась о моём здоровье, но вранья не переносила. Однако, мне запомнилась больше другая картина: я что-то требую, что-то доказываю и в отчаянии, что меня не понимают, начинаю горько плакать от непосильной задачи переубедить взрослого. И тут мама опускается передо мной на корточки, заглядывает в глаза, вытирает слёзы и говорит: "Ну, давай сделаем, как ты хочешь! Давай?"

Кстати, она считала, что ребёнку не нужно повторять нотацию много раз, что дети понятливы и послушны, хоть и не показывают этого. И вообще странным образом считала, что перевоспитать ребёнка невозможно: каким уродился, таким и вырастет. Она уважала это индивидуальное врождённое чувство, поэтому, не слишком вмешиваясь, корректировала поведение и очень любила детей, стояла на защите их достоинства. Помню, в деревне после войны какие-то государственные выборы проводились: избирательные комиссии, участки, подсчёт голосов... Мама, конечно, попала в такую комиссию.

Меня она с собой всюду водила. На этих выборах я впервые узнала, что такое мандарины.

После всех дел сели за накрытый стол. Я – рядом с мамой. И вдруг кто-то (мужской голос) говорит: "Детям нельзя сидеть вместе со взрослыми". Я посмотрела на маму. Ольга сдвинула брови и строго сказала: "Моя дочь всегда со мной. Если ей нельзя, то и я уйду". Тут все зашумели: "У неё двое детей умерли!", и меня оставили в покое.



Фото Лилии Гридневой из Минска. Беларусь.

Поездки с дядей Саввой всегда были счастливыми. Мать провожала меня до повозки на шоссе, говорила вежливо:

-- Здравствуй, Савелий! Матери привет передай, скажи, что у нас всё хорошо. Майя пусть дня три поживёт у неё. Вот, крупу отдай, - она бережно передавала в руки дяде Савве свёрток, и он, принимая его и молча кивнув, несильно дёргал вожжами.

Он долго ехал по булыжнику, колёса съезжали с выступающих камней, бидоны стукались друг о друга пустыми боками, издавая причудливые перезвоны. Телега подпрыгивала и тарахтела о булыжники железными ободами колёс, как трактор. Я тоже подпрыгивала, вцепившись руками в невысокий бортик телеги и пыталась уберечь колени от ударов. Лошадь оскальзывалась на крупных камнях, но дядя Савва будто не замечал ничего. Ехал и ехал. Но потом, вдруг – это всегда казалось неожиданным – съезжал на обочину. И наступала такая тишина... Подковы мягко отпечатывали в песке свои символы добра и удачи. Хорошо смазанные колёса не скрипели. Лес придвигался к

дороге вплотную, слышны были птичьи голоса и – запахи – аромат большого лесного массива! Почему не ощущала я его, пока мы прыгали по булыжнику? Пряные, медвяные, хвойные, грибные запахи как будто боялись приблизиться к шумной повозке, но в тишине осмелели и теперь окутывали и возницу, и девочку, и лошадку, более всех довольную происшедшей переменой: она тихонько ржала и встряхивала головой...

Как-то раз, увидев знакомую повозку по дороге в деревню, я подскочила к ней и попросила дядю Савву подождать, пока отпущусь у мамы. Он кивнул, а я помчалась через небольшой лужок от дороги к барaku. И вдруг мама говорит:

-- Нет, сегодня ты не поедешь.

Кажется, я без спроса покупала мороженое, или ещё что-то было... Кинулась на кровать и залилась слезами. Ольга вышла на крыльцо и махнула Савелию, чтоб уезжал. Я услышала перестук колёс и бидонов и зарыдала ещё пуще. Кровать... Хочу сказать о ней хоть несколько слов, ибо без вида такой кровати не будет до конца понято моё горе. Хотя, казалось бы, причём тут кровать? Потом расскажу и о другой кровати и пусть этот рассказ не покажется тебе неважным, дорогой мой читатель.

Так вот, железная, какая-то цельнокроенная, округлые тяжеловесные спинки с решёткой. Спинки много раз покрашены разной краской, и она проступает во всех местах. Мама долго отмывала эти спинки щёлоком, потом смазывала свои руки подсолнечным маслом. Но спинки с решётками – это ещё ничего. Главное было в том, что под тоненьким ватным матрацем настелены доски, плохо оструганные, кое-где даже с остатками коры, они делали кровать жёсткой и неудобной. Доски даже двигались и иногда становились "колом", впиваясь в спину.

Думаете, я обращала на это внимание? Ничуть. Какая кровать?! Да будь она сделана из чистого золота с брильянтовыми украшениями... О чём вы говорите?! К бабушке! И сама комнатка была похожа больше на кладовку, чем на жильё. Под кроватями стояли чемоданы, какие-то коробки, кульки. Именно в те годы я поклялась сама себе, что у меня никогда ничего не будет стоять под кроватью. Никаких чемоданов! Прикрыта кровать была тёмно-зелёным суконным одеяльцем, тоненьким и кусачим, без пододеяльника. А одевалась я в платица и в пальтишки, присланные в СССР из Америки. И всё это – не было горем. Не было! А вот то, что меня не отпустили в деревню – исторгало из меня потоки слёз и воплей.

Мама присела на эту историческую кровать, где я лежала, уткнувшись в стенку, уже не ревела, но застыла вся в ужасной обиде. Она не погладила, никак не прикоснулась ко мне, объятия были вообще не в её правилах. Села рядом и, покачивая ногой, заговорила:

-- Месяц кончается, крупу получим по карточкам через неделю, сейчас у нас только на одну кашу осталось, - она помолчала, потом продолжила. - Я для бабушки килограмм крупы давала, а ты там три дня жила, - мама долго молчала, но с кровати не уходила.

Я чувствовала по подрагиванию кровати, что мама покачивает ногой. Это стало её привычкой на многие годы и означало какое-то особое состояние души, тональность разговора, глубину темы. Руки сложила перед грудью. Я уже всё поняла, уже поклялась, что не буду выпрашивать поездки в деревню, но не

должен был строго следить за тем, чтоб прибывшие в Ленинград беженцы были внесены в списки, чтоб не успевшие тут же уехать были размещены по эвакупунктам. Руководством города были назначены люди для этих целей, создана эвакуационная комиссия с неукоснительными правилами. Многие десятки предприятий Ленинграда были заминированы, чтоб взорвать их в случае сдачи города врагу. В эвакуацию отправлялись тысячи ленинградцев, учреждений, предприятий, театров, музеев... Что и говорить, работы у руководства города было невпроворот, а времени для её выполнения не было совсем.

Могло моей маме прийти в голову, что она должна проследить за тем, чтоб быть записанной в списках таких-то и таких-то? Думаю, что нет. Думаю, что при сложившихся обстоятельствах, когда она, словно кошка котят, "перетаскивала" детей из Лисьего Носа в Ленинград, ни о какой регистрации она не могла и помыслить. Да и не её это было дело.

КРАМАТОРСК

Основные впечатления о блокаде я почерпнула от мамы в Краматорске. Переехали мы в этот южный город в апреле 1951 года, а в 1959 году я вышла замуж.

В Кингисеппе рассказы о блокаде не велись, а после замужества моего мы с мамой редко общались, тем более, что переехали с Борей жить в Белгород.



Повествование моё будет не стандартным. Даже плана в нём придерживаться трудно. Мамины рассказы возникали стихийно, и я так же стихийно вспоминаю их, и нашу жизнь "вокруг них". Слушая маму, у меня сложились определённые представления о блокадных днях: там все друг другу помогали. Но когда я прочла книгу о блокаде историка Сергея Викторовича Ярова, представления мои о жизни в осаждённом городе кардинально изменились. Я сравнила бы своё знание "до" и "после" с просмотром кинофильма с одной стороны, и с самой жизнью, с другой стороны. В кино ты сидишь в тёплом зале, сытый и одетый, на экране разворачивается трагедия. Ты переживаешь очень, вникаешь в судьбы героев фильма, с истерзанной душой выходишь из зала. И за порогом кинотеатра начинается твоя нормальная жизнь: ты слышала с экрана о голоде, но не испытала его, ты видела замерзающих детей в нетопленных комнатах, но тебе

самой было тепло, ты жалела погибших людей при обстрелах, даже плакала, но вот ты вышла из зала – и всё осталось позади: узнанное, но не испытанное.

Примерно так же, как кинофильм, я восприняла очень неполные рассказы мамы. Переживала и плакала, но не могла представить себе всей картины потерянности, которую обрисовал талантливый писатель и дотошный историк Сергей Яров. Поэтому в рассказе моём будет как бы несколько этажей, и несколько уровней. Время в нём не будет хронологически отсчитывать часы и сутки. В двух соседних абзацах мы, уважаемый и терпеливый читатель мой, можем оказаться в разных географических точках и с большой разницей во времени.

На рассказах мамы я постараюсь воссоздать ту картину её жизни, и жизни города, и в какой-то мере даже страны, и картину жизни нашей семьи, которая была на самом деле. Мне придётся как следует пересмотреть своё "киношное" видение блокады, которое возникло у меня не по моей вине, а, во-первых, по скромности и скупости повествования матери; во-вторых, в печати не было правдивых рассказов о жизни в дни блокады, никаких подробностей, подчёркивалось только геройство, стойкость; и, в-третьих, потому что я была сначала слишком мала, а потом – достаточно молода, чтоб за своими проблемами всерьёз думать ещё и о войне.

По мнению Сергея Ярова, я воспользуюсь фактами из его книги, и фактами из интернета и других источников и дополню то, что недосказала мама, и: "Это (будет) особый тип чтения, при котором чужой текст используется для проекции собственной жизни: книгу заселяют, как чужую квартиру". (Афоризм М. Серто). Что ж, пусть так и будет. У меня и нет другого выхода.

В Краматорске мы жили вчетвером в прекрасной квартире. Её выделил вне очереди рабочему транспортного цеха, грузчику Ефимову Новокраматорский машиностроительный завод для его дочери, заболевшей туберкулёзом лёгких. Мама поведала мне, что в заводском комитете профсоюза выбирали солнечную сторону, второй этаж (чтоб не высоко). Квартира была ещё старого образца, с высокими потолками, с лепниной вокруг люстры, с большими окнами и просторными комнатами и кухней. Ванная и туалет, разумеется, раздельно. Помню анекдот, родившийся во времена строительства маленьких квартир, с низкими потолками, прозванных «хрущёвками». Анекдот такой: «Что успел и чего не успел сделать Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв за время своего правления в СССР? Он успел объединить ванну с туалетом, но не успел соединить потолок с полом».

У меня была своя, отдельная комната с балконом, выходившим на зелёный двор. На этажерке (сейчас таких и не сыщешь) стояли нехитрые сувениры и зеркало. Ну, и книги, конечно, на всех полочках.

Первомай всегда был для нас большим праздником. Шили детям обновы, взрослые тоже наряжались. Прибирали и умывали квартиру, застилали столы праздничными скатертями. Я мыла каждый листочек нашего большого фикуса подслащенной водой, чтоб блестели листья.

В один из Первомаев мама была особенно нарядной. Надела новое крепдешинное платье, которое явилось «контрольной работой» на курсах кройки и шитья её сотрудницы. Платье получилось очень удачным. Мама стройная, с высокой грудью, моложавая и весёлая разглядывает себя в моём зеркале:

-- Люблю, когда мне говорят: «Ольга Кирилловна, вы похудели!» Хотя, смотря как худеть!

Маме не нужно было предупреждать меня, что речь идёт о блокаде. Я угадывала это безошибочно всякий раз, с какой бы запятой или многоточия ни начала она свой рассказ, или короткое замечание, сравнение, возглас...

Блокадная тема всё время встречается в наш разговор, в любой момент, и сразу понятно, что это – о блокаде. "Тема" живёт рядом с нами, как член семьи, и без надрыва, но и беспокойно, надрезает в нашем быту свои отметины. О внешности блокадников я расскажу потом...

Сегодня – Первомай! И всего-то не позднее 1957 года. Мы выходим с мамой на улицу. Папа ушёл раньше, он идёт с колонной своего цеха. Володя идёт со школой – убежал в белой рубашке, в красном галстуке юного пионера, в новых брючках и ботинках, купленных специально к этому дню. Мы сейчас найдём папу в условленном месте и пойдём вместе с рабочими и инженерами огромного завода, одного из первых гигантов индустрии молодой советской страны. Сюда, после окончания в Ленинграде рабфака был направлен старший брат мамы дядя Ваня, Иван Кириллович Гаврилов. Он строил завод, а теперь работает начальником одного из цехов. А мы пойдём мимо трибун. И с трибун будут улыбаться и приветливо взмахивать флажками счастливые дяди и тётки – это наше городское начальство, ветераны войны, и всякие почётные люди города.

Народу – тьма! Я чуть было не наступаю на оброненное яблоко...

-- Яблоко кто-то надкусил и бросил, - говорит Ольга спокойно, словно констатирует незначительный факт, но следующая фраза выдаёт её настроение. – В блокаду съели бы всё! Если б хоть что-то валялось.

-- Как можно так относиться к хлебу? – увидела она на асфальте кусок булки.

Мама никогда не рассказывала о своём чувстве голода. И я ничего не знала бы об этом, если бы не историк

Сергей Яров:

"Блокадники говорили, что не могли заснуть из-за постоянно возникающих мыслей о еде. "Перед глазами беспрерывно мелькают котлеты, и я чувствую их раздражающий запах", - вспоминал А. Коровин. Сны свои ленинградцы называли "голодными". Содержание их, как правило, было одинаковым: перед глазами изобилие продуктов, но их нельзя съесть, или до них не достать, либо они исчезают при малейшем прикосновении. Или ещё страшнее – у тебя эту пищу забирают".

-- Ты отдавала Виталику свой хлеб, - рассказывала мать. – Я ругала тебя, не разрешала отдавать... Но он мужчина, ему надо было больше, чем нам.

-- Он на тебя похож. Просто – одно лицо. Но, мужчина в России красивее! – говорила иногда мама мечтательно, будто представляя, каким бы сейчас был её сын, остался он живым.

Виталий был младше меня всего на год и восемь месяцев, со временем небольшая разница в возрасте и вовсе стала бы незаметной. Как жалела я, что его нет, как тосковала по умершему брату, похожему на меня, почти ровеснику. Как мы дружили бы с ним.

-- Больше всего я боялась умереть раньше вас, - говорила Оля, Ольга, Ольга Кирилловна, старея, но не выпуская ни на секунду сросшихся с ней видений. – Тогда вы были бы обречены.

-- Хлеб очень хотелось съесть весь и сразу! Но тогда – точная смерть детей. – вспоминала она в очередной раз.

Пожалуй, это даже и не воспоминание, это постоянное внутреннее содержание души, мозга, пульсирование мысли в определённом направлении, и мысли, порою, неуправляемой. Блокадные видения возникали, вспыхивали, разгорались, затихали, но никогда не исчезали насовсем.

Сядет вот так мама на мою кровать, я – напротив, за четырёхугольным самодельным столом делаю уроки. Ножки стола крест-накрест скреплены брусками. Очень удобно ставить на эти брусья ноги. Мне этого стола потом всю жизнь не хватало. Замечательный стол. Я скоблила его ножом, чтоб он стал жёлтым, как желток, а потом накрывала скатертью.

Кровать красивая, никелированная, с набалдашниками, виньетками, с тугой панцирной сеткой, специально для меня купили – новую и красивую. Совсем, совсем не такая, как была в Кингисепе. Я любила нырнуть под тёплое ватное одеяло в белоснежном пододеяльнике, вытягивалась, перекатывалась с боку на бок, ощущая уют и безопасность и совсем, совсем не думая о том, что это – счастье!

Кровать убрана в розовое пикейное покрывало. Пышно взбиты подушки в белоснежных наволочках и накрыты кисейной завеской. Мама кладёт ногу на ногу, покачивает ногой, вытягивает ступню, будто разминает: покачивает, покручивает, вытягивает... Лицо повернуто ко мне, глаза будто смотрят на меня, но я вижу, что они устремлены мимо меня, мимо этажерки позади меня, сквозь стену, возле которой стоит этажерка. И движения ноги она совершенно не замечает, и меня, кажется, – тоже.

Я слышу это уже не в первый раз. Всем сердцем я вместе с ней, хотя мне трудно, даже невозможно представить себе, как это – хотеть есть? Я всегда сыта и не помню своего детского чувства голода. Я не помню его. Но мать помнит.

-- Хлеб засовываю глубоко за пазуху и бегом к вам. – Она молчит некоторое время, потом продолжает. – Делила строго на три части: чтоб был завтрак, обед и ужин.

Я молчу. И она молча смотрит сквозь стену.

-- Мы бы все умерли, если бы не дядя Петя. Он отдавал нам суп, - говорит она уже в какое-то другое время, черпая поварёшкой из кастрюли и разливая по тарелкам только что сваренный суп: мужу и себе – в одну, Володе, мне.

Они с папой всегда ели из одной тарелки. Я до самого замужества думала, что это – обязательное условие супружества, как спать в одной постели, так и есть из одной тарелки.

-- Как вы плакали... Как вы плакали от голода!

Я точно помню, что слышала от неё об этом только один раз, но короткий рассказ этот, будто рисунок, очерченный тушью, запомнился мне на всю жизнь: и интонацией голоса, и движением руки, и выражением лица... И молчанием...

Ибо перейти сразу на другую тему не было сил. Мама будто бы снова видела двух маленьких, исхудавших детей, которых она не имела возможности накормить. Без сомнения, много раз возникала у неё мысль о том, что все мы обречены.

Сергей Яров:

"...Смотреть на голодающих детей, а их у меня трое, и чувствовать свою полную беспомощность – нет ничего ужаснее. Они ждут хлеба, а где его взять", – услышал от работниц одной из фабрик Д. Павлов. Более кратко, хотя, пожалуй, и драматичнее, выразила то же чувство В.А. Опахова: "У меня, правда, дети не были приучены просить... но ведь глаза-то просили! Просто, знаете, это не передать". Такие взгляды голодных детей опаляли страшнее всего. Л.А. Волкова рассказывала о тех днях, когда не удавалось получить по карточкам хлеб: "Как же тогда страдала мама, что не могла дать нам поесть".

-- И что ты делала, когда мы плакали? – спрашиваю я. Это был, пожалуй, единственный вопрос, который я задала ей.

Она ответила. Громко, почти злобно:

-- На! Ешь меня!! – Ольга сжала кулак, резко поднесла его дочери под нос.

-- А мы что? – я невольно отшатнулась, но мама не обратила на это внимания. Каждое воспоминание о Ленинградской блокаде сидело в ней прочно, как неизлечимая болезнь и циркулировало постоянно, как циркулирует кровь в нашем теле, пока оно живо.

-- Вы замолкали.

И я представила себе, что именно так, именно так она и сказала нам тогда: со злостью и отчаянием, и именно так показала кулак и сунула его мне под нос, как сейчас. Этот жест остался у неё в генах, в клетках тела, это отчаяние и невыносимость бытия её не покидают. Она так рассказала об этом, как будто в этот момент была там, в Ленинграде, перед своими детьми. Там она интуитивно поняла, что строгость и окрик помогут больше, чем слёзы и открытая жалость. Окриком она буквально спасала себя, а тем самым и нас, спасала, словно приказом по фронту: "Ни шагу назад!"

Жёсткость характера мамы я ощущала всю свою жизнь, скорее, бессознательно, принимая её как данность. Другого не знала. Она не терпела нытиков, ябед. Её частыми поговорками с самыми разными интонациями и по самым разным поводам были – "Натерпишься горя, научишься жить", "Доносчику – первый кнут!" И ещё очень часто применяла она поговорку: "Он (она, оно, они) хлеба не просит!" Например, приходит из магазина, рассказывает, что сдачу дали спичками (справка: коробка спичек стоила 1 копейку): "У продавца мелочи не было, дала десять коробок. Куда мне столько?! А потом решила: пусть лежат, они хлеба не просят".

Читаю книгу Сергея Викторовича Ярова, и страницы блокадной жизни разворачиваются передо мной. Открываю главу "...мотивация жестокости как средства спасения". Честно говоря, сердце забилося, и я сразу вспомнила этот мамин кулак у себя под носом. Писатель приводит потрясающие факты вынужденной жестокости по отношению к ослабевшим, обессиленным людям. Рискуя значительно отойти в сторону от рассказа о жизни в Краматорске, но

считаю необходимым уже здесь привести эти примеры: жёсткие приказы, бескомпромиссные требования выполнить, не дать упасть духом...

Сергей Яров:

"Принуждение было неизбежно там, где люди настолько ослабели, что не всегда могли работать, следить за собой в быту, преодолевать искушение "жить одним днём", добровольно помогать другим. <...> Начальник цеха Механического завода А.Ф. Соколов поехал на квартиру к одному из рабочих: его нельзя было заменить и требовалось во что бы то ни стало немедленно доставить на предприятие. "Навстречу мне... шёл на четвереньках, как ходят собаки. Ходить он из-за слабости не мог". Выхода не было: "Вместе с шофёром взяли его под руки и посадили в машину. Привезли на завод и положили в стационар". В своих записках А.Ф. Соколов рассказывает, как под руки водили к станку измождённого мастера, как подсаживали на машину рабочих, поскольку они "были так слабы, что сами не могли влезть".

Сергей Яров:

"Трудовая повинность по очистке города... Мороз 20 градусов", – отмечает в дневнике 28 февраля 1942 года Э. Левина. Жалеть людей? Но ведь кто-то должен убирать в городе снег. Из райкома ВКП(б) получены указания по очистке нескольких улиц от нечистот... Не уберут нечистоты и трупы, вмерзшие в лёд, – и весной после оттепели начнутся эпидемии".

Сначала объявили добровольное участие в очистке улиц, назначили субботник на 8 марта, но почти никто не пришёл. Тогда приняли жёсткие меры: горожан обязали трудиться на уборке улиц: рабочих действующих предприятий по два часа в день; рабочих предприятий, которые остановились, по восемь часов в день; всех иждивенцев и детей с 15 лет обязали трудиться на очистке улиц по шесть часов в день, иначе – отбирали продовольственные карточки. Всем выдали повестки и жёстко отмечали количество потраченного на уборку времени. И не церемонились.

По пути скажу с усмешкой (вместе с автором книги) о том, что сначала из Смольного поступило указание очистить город за пять дней. Это "указание указало", насколько "владели" ситуацией руководители города. В дневниках есть записи, как выходили на очистку улиц и те, кто едва передвигал ноги. Им подыскивали работу полегче.



Очистка улиц в марте 1942 года.

Сергей Яров:

"Эта жестокость стала обычной. Малейшие попытки учесть только свои интересы, не считаться с другими сразу же безжалостно пресекались, едва лишь были замечены. Нельзя делать вид, что нет иных, более истощённых горожан, нельзя допускать, что они могут и потерпеть.

Заставить человека делать то, чего он не хочет, что причиняет ему боль, заставить, невзирая на все его жалобы, крики, мольбы, и тем самым сохранить ему жизнь – это, несмотря ни на что считали нравственным... И жестокость должна проявляться во всём – и в дележе хлеба, и в распределении мест в стационаре для "дистрофиков". Она неизбежна, когда делят хлеб на равные доли, невзирая на возраст и здоровье членов семьи...

Жалости допускать нельзя – это усвоили прочно. И доводы здесь были очень простыми. Т. Куликовой мать запрещала делиться хлебом с сыном: "Не будет тебя – он погибнет". Как вспоминал Л. Рейхерт, его мать "вскоре перестала скармливать всё детям... Люди подсказали: "Умрёшь, что с ними будет".

"Я лежала и все лежали, потому что мы... потеряли всякие ощущения от такой жизни", - вспоминала В.А. Опахова. Это и увидела врач, пришедшая к ней домой: "Ух, как она меня ругала". Нужны ли мягкие уговоры, увещевания? Нет, только так – бранью, не знающей границ, не щадящей самолюбия. Иначе как вырвать человека из оцепенения, из летаргии близящейся смерти?

В "выморочные" квартиры заходили санитарные отряды. Часто перед ними были не просто ослабевшие люди... Нередко они находили людей отчаявшихся и безвольных, с трудом понимавших, где они находятся и как надо себя вести, не умевших даже, подобно малолетним детям, ухаживать за собой – какие тут могут быть уговоры? Работницы одного из санитарных отрядов... обнаружили

интеллигента, полуодичавшего, не встававшего с постели. Никаких болезней у него не нашли – он просто "сдал".

"На днях была у городского прокурора... Он рассказывает, что недавно приехал из Москвы, на второй день заставил натереть полы. Затем устроил "самоосмотр" сотрудникам. Многих послал мыться и чистить зубы", – эта запись была занесена работником архитектурного управления Э. Левиной в дневник 28 февраля 1942 г. Тогда и шагу нельзя было сделать, чтобы не наткнуться на трупы, выброшенные из домов. Унизительность "самоосмотра" очевидна, но прокурору не до сантиментов. В своей правоте он уверен.

Сергей Яров:

"В замечательной книге Н. Тихонова "В те дни" приведена следующая история: "...Маленькая, закутанная в три платка женщина, спотыкаясь в глубоком снегу, везла на детских саночках измождённого мужчину... Он сидел на саночках, закрыв глаза, и через каждые три шага падал навзничь. Женщина освобождалась от верёвок, за которые она тащила сани, подходила к нему, приподнимала его, и он снова сидел, страшный, как кашей, с закрытыми глазами. Она шла дальше, и он опять падал. И конца этому не было видно, и растерянно женщина оглядывалась по сторонам, надеясь на чью-либо помощь – а он падал, падал, падал. Тогда с тротуара сошла высокая костистая женщина с упрямым выражением глубоких синих глаз, подошла к упавшему, подняла его резко и громко три раза прокричала ему в ухо: "Гражданин, сидеть или смерть! Сидеть или смерть! Сидеть или смерть!" Он открыл глаза, заморгал и уселся. Больше он не падал".

Так умел сказать только тот, кто сам пережил страшные дни блокады, кто видел не одну такую сцену, у кого неминуемо должны были притупиться чувства. Это тот, кто знал, как надо возвращать человека к жизни, не жалея его, не соизмеряя размах удара. Только так – наотмашь и безоглядно: "На! Ешь меня!"

-- Ты помнишь, как искала булку у тёти Дуни в буфете? – спрашивает мама.

Весело поглядывая по сторонам на праздничную толпу, под музыку "Утро красит нежным цветом..." мама рассказывает, что я, пока её не было дома, соорудила «башню» из стульев и табуреток возле высокого Дуниного буфета, под самый потолок, и залезла наверх. Мне кажется, что я даже помню этот момент: открываю стеклянные с красивым узором дверцы буфета и – помню, помню – это захватывающее чувство, что сейчас у меня в руках будет булка, вот здесь всегда лежали булки... Открываю и вижу абсолютно пустые полки. В это время входит мама, видит меня под потолком на хрупком сооружении из стульев и табуреток. И слышит мой удивлённый возглас: «Здесь нет булок!» Да, я помню это чувство: именно удивление, ведь они всегда там лежали.

-- Голод – не тётка! Как ты сумела всё это построить? Я очень испугалась, что ты упадёшь из-под самого потолка. Едва сняла тебя.

И тут Ольга замечает мужа в толпе рабочих, прибывших на первомайскую демонстрацию.

-- Ой, уже выпил. С друзьями... - говорит она недовольным голосом, но улыбается и машет рукой навстречу многочисленным взмахам мужчин, окружившим папу. Нет, Лёлька и виду не подаст, что недовольна, и слова Косте не скажет при посторонних...

Вот дома! Ну, берегись. Дважды в месяц – зарплата и аванс – отец приходил пьяный... Да и не очень пьяный, но весьма весёлый. Отдавал деньги своей строгой Лёльке. Она пересчитывала их, прикидывала траты. Чего уж там! Денег хватало. У грузчиков зарплата была больше, чем у инженеров. Но это не спасало «самого красивого» от красноречивого разноса. Я полностью была на стороне мамы. Отец пытался обнять её, пошутить, но эти попытки встречали отпор и новый поток сердитых слов.

-- Ох, Лёлька, Лёлька! – говорил он и шёл ко мне. Ему хотелось погладить меня по голове, сказать что-то ласковое, но, похоже, он не умел, а самое главное, - я шарахалась от него, как испуганная птица.

-- Ох, дочка, дочка! – сокрушался он, и снова шёл к Лёльке.

Частенько, подойдя ко мне, он произносил:

-- А Галинку-то я так и не видел! – и не знал, куда девать руки, и смотрел на меня влажными глазами, и не управлял лицом, оно подёргивалось и морщилось, уголки губ свисали...

-- Я тоже её не помню, - говорила я шёпотом. – И Виталика не помню.

Я безумно хотела посмотреть на своих брата и сестру, но это было исключено. Или хотя бы – на саму себя лет двух, на капризную и толстенькую. Мама обещала, что покажет мне ребёнка, похожего на меня, если нам посчастливится с таким встретиться. И она показала мне девочку, волосы цвета спелой пшеницы, голубые глаза, румяные щёки.

-- А Виталик – точная твоя копия.

Помолчав, добавляла:

-- Но мужчина в России красивее.

Убирая после обеда со стола, мама почти всегда замечала:

-- В Ленинграде не оставили бы ни крошки, всё в рот тянули.

Иногда она мечтала: вот, если бы не было войны.

-- У нас с папой детей было бы много. Беременела я часто. И всех бы родила!

Как мне хотелось, чтоб детей в моей семье было много! Или хотя бы живы были те, что умерли, хотя бы четверо.

-- Виталий уже в восьмой класс ходил бы, - подсчитывает мать, загибая пальцы на руках. – Да и Галина уже не маленькая была бы.

И мы с ней улыбаемся, представив большими наших малышей, а я – ещё и тех детей, которые могли бы родиться... Большой дом в красивом селе Серёжино. Дом, я знала, строят всем селом. Строят по-северному, "пятистенку", из брёвен, прокладывают мхом. Большие окна, двойные рамы...

-- Учителей в деревне очень ценили, - вспоминает мама. – Уж нам бы в первую очередь дом построили. Я ведь за местного парня замуж вышла, и в деревне навсегда оставалась. Меня люди очень уважали...

-- А село какое красивое было! На самом берегу Луги, чуть-чуть на взгорье. На лыжах и коньках – всю зиму. В каждом дворе – санки, это обязательно. Часто самодельные. И люди весёлые были и добрые.

-- Прихожу к кому-нибудь в дом, об ученике поговорить, меня усаживают, и обязательно табуретку полотенцем обмахнут. Уж лучше бы не обмахивали, - смеётся мама, - на юбке всегда круг от муки оставался.

Шумели, смеялись, читали книжки, стряпали на кухне, играли в куклы мои воображаемые сёстры и братья. Нет их. Всех уничтожила война. Послевоенный Володенька настолько любимый сын и брат, что больно вспоминать. Рожать ещё детей после возвращения папы с фронта Ольга не решилась. Предупредили доктора, что сердце её не выдержит следующей беременности и родов.

ХАЙФА

"Кто говорит, что время лечит,

Тот никогда любви не знал".

Ф. Тютчев.

В Израиле Боря получил денежную компенсацию от Германии как лицо еврейской национальности, вынужденный "бежать от гитлеровской оккупации", кажется, так называлось это действие. Ему нужно было доказать, что он действительно еврей (свидетельства о смерти или рождении отца и матери, где указана их национальность); нужно было доказать, что он действительно бежал от немцев, спасая свою жизнь (автобиография при приёме на работу, где обязательно указывалось, был ты эвакуирован или оставался на оккупированной территории); нужно было доказать, что он был в эвакуации именно в той области, которая указана в автобиографии (анкета Российского Красного Креста).

С Борей работал адвокат, вернее – работала, потому что это была симпатичная молодая женщина, доброжелательная, умная. Она направила запросы в различные инстанции, и в ожидании ответов Боря звонил ей и посещал её кабинет с завидным постоянством. Он был в своём репертуаре, мой Боря.



Майя и Борис Гутины

Я всюду ходила с ним, и была свидетелем радости и Бори, и адвоката, когда все данные подтвердились, и муж получил на свой счёт сумму компенсации. Сколько? Помню, как будто пять тысяч, но были это доллары или шекели, я не помню. Я пишу обо всём этом, чтоб связать узелочком нити в своих собственных расследованиях: всё-таки я была далека от мысли получить этот знак – "Жителю блокадного Ленинграда". Скорее, мною двигало любопытство. Мысль о получении знака зародилась постепенно и росла вместе с поисками блокадных путей нашей семьи.

Рассматривая анкету Российского Красного Креста об эвакуации 22 сентября 1941 года из Харькова Гутиной Баси Моисеевны и её сына Бориса одиннадцати лет в Казахскую ССР, Акмолинскую область, город Щучинск, я подумала, что, наверное, подобные сведения есть и о нашей семье.

Раскрыла интернет, чтоб посмотреть информацию о Красном Кресте, благо теперь есть такая возможность. Посмотрела, почитала. Я совсем ничего не знала, а оказалось, это такая благородная организация! Она была создана по инициативе швейцарского предпринимателя Анри Дюнан. Однажды, направляясь в Северную Италию для встречи с Наполеоном III, Дюнан стал свидетелем битвы при Сольферино между франко-итальянскими и австрийскими войсками. После 16-часовой баталии солдаты были просто брошены на произвол судьбы, никто не оказывал им необходимой медицинской помощи. Потрясённый увиденным на поле боя, Дюнан решил призвать мирных жителей из соседних деревень, чтобы они вместе с ним оказывали раненым помощь, не обращая внимания на то, кто против кого воюет.

В 1863 году благотворительная организация «Женевское общество поощрения общественного блага» учредила комиссию из пяти человек, задача которой была воплотить в жизнь идеи Дюнан. Члены комиссии вскоре основали Международный комитет по оказанию помощи раненым, позже он был

назван Международный Комитет Красного Креста (МККК). Первое его заседание состоялось 17 февраля 1863 года, на котором было принято решение о нейтральном статусе организации. А 22 сентября 1864 года 16 государств заключили Женевскую конвенцию о защите раненых, положившую начало современному гуманитарному праву. Документ запрещал стрелять в людей, здания и повозки с красным крестом. Нарушение этого обязательства и использование красного креста не по назначению считалось военным преступлением.

С 1992 года в Москве работает делегация МККК. В ее штате насчитывается около 250 человек. Зона ответственности делегации охватывает Россию, Белоруссию, Молдавию и Украину. Бюджет региональной делегации составляет 15 миллионов долларов в год.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца является самым крупным гуманитарным сообществом мира. Его цель состоит в облегчении человеческих страданий, защите жизни и здоровья людей и отстаивании человеческого достоинства, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. Движение действует во всех странах мира.

Штаб-квартира МККК и по сей день находится в Женеве.

Эти данные меня воодушевили, и я принялась сочинять письмо в Российский Красный Крест (РКК) о наших ленинградских невзгодах.

Письмо моё написано старательно, с огромным уважением к работникам Красного Креста, с уверенностью, что каждая строчка будет прочитана и прочувствована. Оно было огромным, подробным: пять с половиной густо исписанных машинописных страниц вместо трёх-пяти строк, необходимых для запроса. Да и откуда я могла знать, что именно нужно спрашивать? Такое случилось время, что мы живём как бы на сломе эпохи: прошлое резко ушло, новое ещё не пришло. Вот и пишу я, стараясь не упустить ни малейшей подробности, пишу с сознанием того, что Красный Крест – мой защитник.

«Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов застала нашу семью в селе Серёжино Порховского сельсовета Кингисеппского района Ленинградской области», - начинаю я своё повествование. Далее сообщаю о каждом члене семьи, имя, возраст... Об отце, например, «Ефимов Константин Степанович, ему 26 лет, и он с первых минут войны на фронте. Воевал он и в финскую кампанию».

Письмо в Российский Красный Крест я писала в июне 2009 года, когда ещё многого не знала, в чём и признаюсь неизвестному чиновнику: «...меня и маму, уже умирающих, вывезли по Ладоге в начале апреля 1942 года, лечили в Ярославской больнице, отправили в эвакуацию. Не помню области, кажется, Кировская, но точно помню, что там есть название – станция Фалёнки – детский дом, где работала мама, был недалеко от этой станции». Вот такие подробности сообщаю. Как лучшему другу.

И всё письмо у меня выдержано в доверительном тоне: «Мать говорила о блокаде часто, вспоминая эпизоды, случаи, настроение... Она никогда не касалась организационных вопросов и уж, конечно, не потому, что якобы скрывала, а потому что всё как бы само собой разумелось. А мне и в голову не приходило спросить».

«Как Ольга добралась до Ленинграда с тремя маленькими детьми?»

«Какого числа мать оказалась в Лисьем Носу?»

«...оставила в Лисьем Носу сына, одного, а меня и Галинку доставила в Ленинград. Как? Куда? Чем кормила? Не знаю. И никогда не спрашивала. Я вся была поглощена горем и страхом малыша, который остался один в пустом посёлке, в пустом доме – ему 1 год и 7 месяцев – всю жизнь, и по сей день я не могу вспоминать об этом без слёз и без душевной боли».

«Как я поняла, сестра умерла на эвакупункте, ей шёл пятый месяц, но молоко в груди матери пропало. И опять я не знаю никаких организационных вопросов. Не знаю, выдавали ли свидетельства о смерти, не знаю никаких подробностей похорон, но... каждый раз при воспоминании о голодном ребёнке, отыскивающим глазами мать, на меня накатывает такая лавина отчаяния и слёз – трудно передать. Ленинградская блокада впаялась в мои нервы».

И дальше повествую о семье тёти Дуни, называя всех, даже адрес у меня обрастает подробностями: «Мы переселились (или нас переселили) в переулок Демидов, дом 9, квартира 7, позже это переулок Гривцова, недалеко от Сенной площади, позже – площадь Мира».

«Куда эвакуирована семья Зубовой Евдокии Кирилловны – не знаю». «Нет, в газетах ещё не печатались подробности блокадной жизни, а если и печатались, то в наш гортоп на Гдовском шоссе в городе Кингисепе в 1950 году такие сведения не доходили».

«Странно замечать красоту во время смертельной опасности, но, когда прожекторы скрещивались и ловили самолёт, это было красиво», - говорит мама, включив телевизор и увидев на экране освещённых под куполом воздушных гимнастов.

И далее, и далее подробный, доверчивый рассказ обо всём, о чём рассказывала мама, о моём отношении к тем событиям, и о чём уже написала выше. У меня никогда и тени сомнения не было, что мы с мамой пережили Ленинградскую блокаду. Поэтому и пишу откровенно и сердечно в самую лучшую, самую нужную организацию – Комитет Красного Креста – призванную защитить мои интересы, поправленные войной.

«Я обратилась за помощью и к своим родственникам-ленинградцам», - продолжаю я. Обратилась к двоюродному брату Серёже, сообщая РКК ненужные сведения: «Тётя Дуня могла бы подтвердить, что она не жила в блокадном Ленинграде, а была в эвакуации, но она умерла. Живы её дети Ольга и Сергей. С Ольгой я потеряла связь, знаю только, что она живёт в Запорожье, а Сергей ответил мне, не пытаясь вникнуть: «Я не помню, где мы были в эвакуации, я же был маленький». Он действительно был маленький, мы с ним ровесники, почти близнецы, хотя и двоюродные: он родился 3 февраля 1938 года, а я 5 февраля 1938 года», - вот какие «необходимые» факты сообщаю я РКК.

«Не получив ответа от Сергея Зубова, - продолжаю я уже на пятой странице своего опуса, - я написала в домоуправление по адресу, который помнила: улица Гражданская, 1/9, с просьбой сообщить мне дату эвакуации из Ленинграда Ефимовой Ольги Кирилловны и её дочери Маины. Их ответ об отъезде из Ленинграда Зубовых 7 апреля 1942 года стал настоящим потрясением».



Я помню, как умер Виталик. Мама не было дома. Февраль 1942-го. Мне четыре года, а братику два года и три месяца. Мы с ним сидели (скорее – лежали) в разных концах большой кровати, закутанные в одеяла, лицом друг к другу. Мама дала каждому из нас по кусочку хлеба и ушла. Я не помню вкуса хлеба, но помню, что уже доедала свой кусочек и посматривала на братика, который поднёс хлеб к лицу и не кусал его, а так и держал возле лица. Я очень удивилась: почему он не ест хлеб? Видимо, это удивление и оставило в памяти картину, которую я не могла осмыслить: он не ел, а только держал хлеб возле лица. Это было для меня невыносимо, необъяснимо!

Так я смотрела на него и удивлялась, пока не пришла мама. Я встретила её возгласом, который помню:

-- Мама, Виталик не ест хлеб!

Мама подошла к нему и взяла хлеб из его руки. Смутно, смутно в моём сознании белеет маленькое личико и маленькая рука, которую приподняла мама и бережно положила на одеяло. Дальше ничего не помню. Только по её рассказу:

-- Он больше не хотел хлеба, и ничего не хотел, - рассказывала мама. - Смерть ребёнка казалась чуть ли не благом: он не мучается от голода, теперь он спокоен.

Она завернула сына в простыню (гробы давно не делали), положила на санки и отвезла на кладбище. Эти привязанные к саночкам тела в саванах в народе называли "пеленашками".

-- Умирало так много людей, что на кладбище их складывали штабелями, словно дрова у стены. «Кто?» - спросил у меня служитель кладбища. «Сын». «Я положу его на самый верх. Ему там будет хорошо». – Мама смотрела сквозь стену и покачивала ногой. У меня обрывалось сердце.

Возможно, мама приукрасила момент расставания с сыном. Эта мысль возникла у меня после чтения исследования Ярова: у него – страшно! Но – нет. Конечно, нет! Всё так и было, как она рассказывает. Возможно, у служителя кладбища дрогнуло что-то в душе при взгляде в глаза матери, которая держала на руках умершего ребёнка, как держат живого, прижимая к груди и убаюкивая. И не мог он не поддержать её хотя бы словом, принимая от неё невесомый, драгоценный груз.

-- Подумать только! – иногда в отчаянии говорила мама. – Он не всё мог есть... Он не мог есть яиц, даже, если был голоден. Он не мог есть ту еду, усвоить её – мал ещё... совсем маленький. – И голос её был проникнут таким сожалением, отчаянием. Неотвратимостью происшедшего. И на лицо её было необъяснимо трудно смотреть.

Яйца? Да, это было, вероятно, в самом начале, в эвакупункте на набережной Мойки, 74. Ничего я не знаю про этот период жизни, как и про многие другие. Если мама с августа и по декабрь жила в эвакупункте, значит, она знала, что Дуни нет в городе и что она, Ольга, осталась одна. Сначала никто не думал о голоде, но он приближался неумолимо и наступил. Пропало молоко в груди кормящей матери, значит, нечего было есть. Какие уж тут яйца! А молоко! Эта предусмотренная природой пища для детёнышей... Разве могла подумать мама, что когда-то иссякнет этот Богом данный источник? Разве могла она подумать, что её высокая, налитая живительным нектаром, грудь высохнет, что из неё нельзя будет выжать ни капли молока? Младшую дочь кормить было нечем. Совсем нечем!

Галинка умерла в самом начале января сорок второго. И в домовых книгах появляется запись об умершем ребёнке. А о живых – ни строчки. Но и эта запись появилась, видимо, позже, когда уже и Виталий умер, в феврале сорок второго, и его имя тоже записали в домовую книгу, но переставили имена детей. Почему? Кто записывал? Тоже был едва живой? Что я могу сказать о людях, которые должны были точно исполнять свои обязанности? Тот, кто работал в то время в Октябрьском домоуправлении, неплохо работал. Худобедно, с ошибками, но умершие дети всё же зарегистрированы. И в эвакуацию в апреле сорок второго отправлен кто-то из квартиры семь в девятом доме по переулку Демидов? Кто? Разве упомнишь? Но надо зарегистрировать, записать, и домуправ записывает постфактум старательно и обязательно фамилию, которую подсмотрел в книге прописанных в этой квартире до войны: Зубовы.

Сергей Яров:

"О мёртвых телах, лежавших на улицах Ленинграда, написано немало. Трупы обнаруживали всюду – и на центральных улицах, и в глухих переулках. Поначалу их обходили, но, поскольку на зажатых сугробами тропинках трудно было разминуться, через мёртвых стали перешагивать, зачастую без стыда и брезгливости... Особенно много трупов, брошенных на улицах, находили в январе – начале февраля 1942 года... <...> Как правило, мёртвых находили частично или полностью раздетыми. Нередко их тела были осквернены каннибалами: отделяли не только мягкие части тела, но и отрубали конечности. Обычно снимали с трупов (или ещё живых, но замерзающих и умирающих

людей) пальто, обувь, шапки, даже юбки и чулки. Нередко погибших выносили из домов соседи и дворники, снимая с них то что было "получше".



На улице блокадного Ленинграда.



Сергей Яров:

"...На Пискаревском кладбище количество незахороненных трупов, сложенных в штабеля длиной 180 – 200 метров и высотой до 2 метров, из-за отсутствия траншей в отдельные дни февраля достигало 20 – 25 тысяч; на Серафимовском кладбище трупами был забит морг, церковь и часть их лежала просто на кладбище. Штабель трупов около 5 тысяч лежал и на Большеохтинском кладбище, там же полностью был заложен трупами морг. На кладбище имени Жертв 9 января в сенном сарае лежало около 3 тысяч незахороненных трупов. Такое положение на кладбищах длилось до конца февраля 1942 года..."

Это значит, что наши дети, умершие одна в начале января, другой в начале февраля долго не были преданы земле.

Я не сомневаюсь, что мама привезла умерших детей на кладбища, не оставила их на улице, или возле морга, как делали это многие и многие обессиленные ленинградцы. Она называла, на каких кладбищах похоронены Галинка и Виталик (да, она говорила "похоронены", и это само собой означало для меня предание земле). На разных кладбищах, не на одном, но я только и запомнила, что не на Пискаревском, и на разных. И она называла много раз эти кладбища, но всё пролетало мимо моих беспечных и бестолковых ушей.

Знала ли мама всю ужасную картину "смертного времени", как знаю её я из исследования Ярова? Историк упоминает, что не все могли себе представить общую картину военного города, масштабы беды. По его словам, полгорода оказались "лежащими".

Зина:

«Майя, твоя мама страшный человек! И в блокаде она не была!»

Не выясняла, чем страшна была для Зины мама, и почему Зина сделала такой странный вывод. Посмотрела я на неё и ничего не сказала. Не для всех моя мама была удобным человеком.

Нет, ничего не доказывала и сейчас не доказываю. Я читаю исследование Сергея Викторовича Ярова, и восхищаюсь своей матерью, которая, без сомнения, всю жизнь неотступно находилась мыслями в том смертном водовороте, но говорила об этом времени скупой, замолкала почти на полуслове, не пропуская в нашу жизнь ужасающие подробности блокадного быта. Автор исследования говорит, что не все пережившие блокаду рассказывали о ней, упоминает женщину, которая лишь об одном-единственном случае рассказала, и то – к слову – о возвращении потерянных хлебных карточек. Многие не говорили о пережитом ни звука.

Сергей Яров:

«Каким искушением являлось это желание съесть хлеб сразу и целиком!»

-- Хлеб прятала глубоко за пазуху, и бегом к вам. Так хотелось съесть его весь и сразу! – это слова мамы, которые я слышала почти всякий раз, когда она брала хлеб в руки, или нарезала буханку к обеду.

Да, она говорила: "Бегом к вам", это я хорошо помню. Видимо, этот "бег" был лишь в стремлении побыстрее попасть домой, увидеть нас, покормить.

Она говорила мне, что делила блокадный хлеб на три равные порции: завтрак, обед и ужин, детям – такие же кусочки, как и себе. Она соблюдала